

**Ф. М. Достоевский**

**СЛЕЗИНКА РЕБЁНКА.  
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ**

Москва  
АСТ

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Д70

**Достоевский, Федор**

Д70 Слезинка ребенка. Дневник писателя / Федор Михайлович Достоевский. – Москва : АСТ. – 2015. – 352 с. – (Эксклюзивные мемуары).

ISBN978-5-17-088412-4

«...От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезами своими к боженъке». Данная цитата, принадлежащая герою романа «Братья Карамазовы», возможно, краеугольная мысль творчества Ф. М. Достоевского – писателя, стремившегося в своем творчестве решить вечные вопросы бытия: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в высшем смысле, т.е. изображаю все глубины души человеческой». В книгу «Слезинка ребенка» вошли автобиографическая проза, исторические размышления и литературная критика, написанная в 1873, 1876 гг. Публикуемые дневниковые записи до сих пор заставляют все новых и новых читателей усиленно думать, вникать в суть вещей, постигая, тем самым, духовность всего сущего.

Федор Михайлович Достоевский – великий художник-мыслитель, веривший в торжество «живой» человеческой души над внешним насилием и внутренним падением. Созданные им романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы» по сей день будоражат сознание читателей, поражая своей глубиной и проникновенностью.

**УДК 821.161.1-94**  
**ББК 84(2Рос=Рус)1-44**

ISBN978-5-17-088412-4

© ООО «Издательство АСТ»

1873

## I. ВСТУПЛЕНИЕ

Двадцатого декабря я узнал, что уже все решено, и что я редактор «Гражданина». Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайное для меня (я никого не хочу обижать), произошло, однако, довольно просто. Двадцатого декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора; она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто: все оно было предусмотрено и определено еще за тысячу лет, до последней подробности, почти в двухстах томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то что меня так легко

#### 4 ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать «Гражданина». Там все так ясно... Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенное церемониями наставление. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы невероятно приятно слушать. На случай, если б я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, — мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б даже и был; напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж, без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей сове-

сти», третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе золотыми литерами, князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же бы издали великолепнейший № «Гражданина», такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы бы издавали отлично.

Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с тою целью, чтоб я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. Но я перехитрил бы его: я бы тотчас перестал печатать «Бисмарка», сам же, напротив, стал отлично писать статьи, — так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать.

В Китае я бы отлично писал; здесь это гораздо труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на тысячу лет; здесь же все вверх дном на тысячу лет. Там я даже поневоле писал бы понятно; так что не знаю, кто бы меня стал и читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в «Московских ведомостях» передовые статьи пишутся в полтора столбца и — к удивлению — понятно; да и то если принадлежат известному перу. В «Голосе» они пишутся в восемь, в десять, в двенадцать и даже три-

## 6 ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

надцать столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя.

У нас говорить с другими — наука, то есть с первого взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае; как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слова «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их; теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве» — и вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете.

Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя: «Да уж не я ли это глуп в самом деле?» Положение вседозволенное, и, однако же, никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром; но даром-то еще дороже обходятся, и это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок.

Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае

уже оканчивается. Несомненно придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять тысячу томов церемоний, с тем чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, — нам надо прожить по крайней мере еще тысячелетие задумчивости. И что же — никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться.

Правда и то: если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче, действительно; и горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать; но еще горше тому, который объявит об этом искренно; а если заявит, что уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка, или даже нанять его, и только с ним одним и разговаривать; может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что «Гражданину» еще долго придется говорить самому с собой для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. «Гражданин» должен непременно говорить с гражданами, и вот в том вся беда его!

Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду и я говорить сам с собой и для собственного удовольствия, в форме этого дневника, а там что бы ни вышло. Об чем говорить? Обо всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя и, боже сохрани, оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные: не со всяким можно начать разговор. Расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно.

Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и решили так:

— Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма; поди вываляйся в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь.

Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы.

Вот басня. Конечно, львов у нас нет, — не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким



каждый обязан быть, и нравouchение выйдет то же самое.

Кстати, расскажу еще присказку.

Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение — «С того берега». Об этой книге, к величайшему моему удовольствию, с похвалой отнесся и Михаил Петрович Погодин в своей превосходной и любопытнейшей статье о свидании его за границей с Герценом. Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

— И мне особенно нравится, — заметил я между прочим, — что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он вас во многих случаях ставит к стене.

— Да ведь в том-то и вся штука, — засмеялся Герцен. — Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, затащил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: «Разговор между господином А. и господином Б.» (вошла в собрание его сочинений). В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский, выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

— Ну что, как ты думаешь?

— Да хорошо-то, хорошо, и видно, что ты очень умен, во только охота тебе была с таким дураком свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь, что есть мочи:

– Зарезал! Зарезал!

## II. СТАРЫЕ ЛЮДИ

Этот анекдот о Белинском напомнил мне теперь мое первое вступление на литературное поприще, бог знает сколько лет тому назад; грустное, роковое для меня время. Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил, и как он меня тогда встретил. Мне часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, *gentilhomme russe et citoyen du monde* прежде всего, тип, явившийся только в России и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. В полтора года лет предыдущей жизни русского барства за весьма малыми исключениями истлели последние корни, расшатались последние свя-

зи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они, естественно, потеряли и бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, — каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом, и именно как русский барин, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только «логического течения идей» и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества, отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции и подстрекал к ним других и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был

художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлексер. Рефлексия, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была в нем развита в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный; но чем бы он ни был — писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады (что так комически описал в своих записках); страдал ли, радовался ли, сомневался ли; посылал ли в Россию в шестьдесят третьем году, в угоду полякам, свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим возванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием, — всегда, везде и во всю свою жизнь он прежде всего был *gentilhomme russe et citoyen du monde*, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно через разрыв с родной землей и с ее идеалами. Белинский, напротив, — Белинский был вовсе не *gentilhomme*, — о нет (он бог знает

от кого происходил; отец его был, кажется, военным врачом). Белинский был по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззаветно восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные люди» восхитила его (потом, почти год спустя, мы разошлись — от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною торопливостью обращать меня в свою веру. Я несколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по крайней мере в первые месяцы знакомства. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье его и необыкновенная способность глубочайшим образом проникаться идеей. Интернационалка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский. Выше всего ценя разум, науку и реализм, он в то же время понимал глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не социальную «гармонию», в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что основа всему — начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако,

## 14 ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ

не указал до сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинаться с атеизма. Ему надо было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности он отрицал радикально (замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен). Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже алмазновых основаниях.

Тут оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которой всего труднее было бороться. Учение Христово он, как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современной наукой и экономическими началами; но все-таки оставался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но

в непрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безверия книге «*Vie de Jésus*», что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому нельзя уже более повториться даже и в будущем.

— Да знаете ли вы, — взвизгивал он раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, — знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если б даже хотел...

В этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький, начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.

— Мне даже умилительно смотреть на него, — прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, — каждый-то раз, когда я вот так помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать